

*Бенджамену Д. Хитцу,
Близкому другу моей юности,
Шаферу у меня на свадьбе.
Бен, помнишь, ты
Рассказывал
Про замечательные книжки,
Которые прочел.
И мне казалось, что я тоже
Читаю их вместе с тобой.
Ты выбирал самые лучшие
Книжки, Бен,
А я корпел над химией.
Как долго, долго мы не
Видались.*

Пролог

Да — Килгор Траут снова тут. Не вышло у него на воле. И нечего стыдиться, что не вышло. Много есть хороших людей, у которых на воле не выходит.

Сегодня (16 ноября 1978 г.) получил я утром письмо от незнакомого молодого человека, Джон Фиглер его зовут, он из Краун-Пойнт, штат Индиана. Краун-Пойнт вот чем знаменит: в самую Депрессию из тамошней тюрьмы совершил побег Джон Диллинджер, ограбитель банка. Диллинджер сбежал, угрожая охране пистолетом, который вылепил из мыла, покрасив гуталином. Охрану несла женщина. Упокой, Господи, ее душу. И его тоже. Подростком я почитал Диллинджера, словно Робин Гуда. Похоронен он неподалеку от моих родителей и от Алисы, моей сестры — она Диллинджером еще больше меня восхищалась, — на кладбище Краун-Хилл в Индианаполисе. Там же, на холме — самая

высокая точка в городе, — лежит Джеймс Уитком Райли, Кукурузный бард. Мама, когда девочкой была, этого Райли хорошо знала.

Диллинджера в конце концов прикончили агенты Федерального бюро расследований. Прямо у всех на глазах и пристрелили, хоть он не сопротивлялся, даже не пробовал увернуться от ареста. Поэтому, сами понимаете, ФБР я уж давно уважать перестал.

Джон Фиглер законов не нарушает, тихий такой школьник. Пишет, что прочел почти все мои книжки и вот понял теперь, какая у меня самая главная мысль, в каждой книжке она появляется, начиная с первой. Он ее, мысль эту, так сформулировал: «Обманет все, любовь сгорит, но благородство победит».

По-моему, хорошо сказано — и точно. Хотя не по себе мне нынче, на шестой день после того, как пятьдесят шесть стукнуло, — выходит, зря я мучился, книжку за книжкой сочиняя? Отбил бы телеграмму в семь слов, и все дела.

Нет, правда.

Только опоздал Фиглер, прозорливец юный. Поэтому что я почти уже закончил новую книжку — вот эту.

В ней есть второстепенный персонаж по имени Кеннет Уистлер, а за этим персонажем стоит один человек из Индианаполиса, он принадлежал к тому же поколению, что мой отец. Звали его Пауэрс Хэпгуд (1900—1949). О нем иногда упоминают в книгах по истории рабочего движения: известен он тем, что ни на какие уступки не соглашался, участвуя в забастовках, в маршах протеста, когда казнили Сакко и Ванцетти, ну и так далее.

Сам я его видел только раз. Мы вместе пообедали в ресторане Стиджмейера — это центр Индианаполиса, — когда я вернулся со Второй мировой войны, из Европы то есть; был еще мой отец и его младший брат, дядя Алекс. В июле 1945 года это происходило. Первую атомную бомбу еще не сбросили на Японию. Ее сбрасывают примерно через месяц. Подумать только!

Мне было двадцать два, и я еще не снял форму — рядовой, обученный, а вообще-то до войны я болтался в Корнеллском университете, химией овладевал. Перспективы передо мной открывались туманные. Своего бизнеса у нашей семьи не было, так что не пристраившись. Отцовская архитектурная мастерская закрылась. Отец без гроша в кармане сидел. Ну а я, несмотря ни на что, собирался жениться, уже и помолвка состоялась, — я вот что думал: «Это кто же, кроме жены, со мною в постель ляжет?»

Мать моя — в других своих книгах я уж столько раз про это писал, до тошноты надоело, — отказалась жить дальше, поскольку теперь невозможно сделалось остаться тем же, чем она была, когда выходила замуж, — одной из богатейших женщин в городе.

Тот обед устроил дядя Алекс. Они с Пауэрсом Хэпгудом вместе учились в Гарварде. Гарвард будет все время появляться в этой книге, хотя сам я там не учился. Я там преподавал впоследствии — недолго и ничем не отличившись, — а дома у меня как раз в ту пору творилось черт знает что.

Как-то рассказал я про это одному из моих студентов — что у меня дома черт знает что творится.

А он выслушал и говорит: «*Да уж видно*».

Дядя Алекс в политике такой был консерватор, что, думаю, ни за что не стал бы обедать с Хэпгудом, если бы Хэпгуд не учился когда-то с ним вместе в Гарварде. Хэпгуд был профсоюзный деятель, вице-президент местного отделения КИО. А его жену Мэри Социалистическая партия выставляла кандидатом в вице-президенты Соединенных Штатов, много раз выставляла.

Знаете, когда я впервые в выборах участвовал, я проголосовал за Нормана Томаса и Мэри Хэпгуд, хотя понятия не имел, что она у нас в Индианаполисе живет. Да, а победили Франклин Д. Рузвельт с Гарри С. Трумэном. Я тогда думал, что я настоящий социалист. Считал, что социализм для простого человека — то, что нужно. А сам-то я, рядовой, обученный, из пехоты, — сам я кто таков, если не простой человек?

Поговорить с Хэпгудом решили оттого, что я сказал дяде Алексу: может, когда армия от меня отвяжется, попробую устроиться на работу в профсоюз. В то время профсоюзы были самым замечательным орудием, чтобы от предпринимателей маломальской экономической справедливости добиться.

Дядя Алекс, должно быть, что-нибудь в таком духе подумал: «Боже правый! Против глупости даже боги бессильны. Ладно, пусть свои бредовые идеи по крайней мере хоть с гарвардцем обсудит, не с кем попало».

(Насчет глупости, перед которой бессильны боги, сказал Шиллер. А Ницше поправил: «Против *скуки* боги бессильны».)

Ну, уселись мы с дядей Алексом у Стиджмейера за столик рядом со входом, заказали по пиву, ждем,

когда отец и Хэпгуд появятся. Они порознь пришли. А то, если бы решили по дороге встретиться, им бы разговаривать друг с другом было не о чем. К тому времени мой отец утратил всякий интерес к политике, истории, экономике и прочему такому. Все повторял, что уж больно много болтают. Идеи для него не так уж много значили, вот ощущения — другое дело, особенно когда что-нибудь в руках держишь. Лет двадцать спустя, умирая, он все говорил: жаль, что горшечником ему стать не довелось, сидел бы дни напролет да глину пальцами мял.

Я об этих его настроениях жалел — у него ведь такое хорошее образование было. Мне казалось, знания свои, свое умение он просто выбросил за ненадобностью — ну, как солдаты ружье и ранец выбрасывают, когда отступление.

А вот другим это в нем нравилось. Его в городе вообще очень любили, особенно руки его, на удивление талантливые. И еще он всегда был такой простодушный, обходительный такой. Любой мастер-ремесленник для него просто святой, хоть на самом-то деле среди них много попадалось озлобленных и глупых.

Кстати, дядя Алекс руками ничего не умел делать. И мать моя тоже. Даже завтрак приготовить не могла. Или пришить пуговицу.

Зато Пауэрс Хэпгуд умел копать уголек. Этим и занимался после Гарварда: его однокашники кто по отцовским фирмам устроились, кто в маклерских конторах, банках там и так далее, а Пауэрс уголек копал. Потому как думал, что настоящий друг рабочих сам должен быть рабочим, причем настоящим.

В общем, должен сказать, что отец, когда я его узнал как следует, то есть когда сам стал более или

менее взрослым, был славный человек, только от жизни он совсем отстранился. А мать уже капитулировала и больше не значилась в нашем семейном расписании. И в принципе с самого начала меня сопровождала атмосфера неудачи. И стойкие ветераны вроде Пауэрса Хэпгуда меня, в общем, всегда восхищали, а также и другие, из тех, кому все еще ужасно хотелось в точности узнать, что же это такое вокруг происходит, и кому все еще не занимать было проектов, каким бы образом уцепить за хвост удачу, когда неудача уже вцепилась зубьями удаче в хвост. «Раз намереваюсь и дальше жить, — думал я, — лучше вот с таких пример брать».

Однажды захотелось мне написать рассказ про то, как мы с отцом на Небесах встретились. С такого эпизода, кстати, начиналась эта книжка в одном из первых вариантов. В рассказе, надеялся я, выйдет так, что я ему самый настоящий друг. Только все в этом рассказе пошло вкривь да вкось, как часто бывает, если описываешь людей, которых хорошо знал. Там, на Небесах — разве нет? — каждый может для себя выбрать какой хочет возраст, если только до этих лет на земле дожил. Допустим, Джон Д. Рокфеллер, который «Стэндарт ойл» основал, может хоть мальчиком быть, хоть стариком — девяносто восемь ему. И царь Тутанхамон тоже, но чтобы не старше девятнадцати оказался, и так далее. Как автор рассказа я расстроился из-за того, что мой отец решил на Небесах быть девяностилетним.

Я-то захотел, чтобы мне сорок четыре было — мужчина почтенный, но вполне еще привлекатель-

ный по части секса. Из-за отца я расстроился, потом растерялся, потом рассердился. В девять лет он был прямо обезьяна какая-то, вроде лемура, что ли, — буркалы да лапы, а более ничего. Из карманов блокноты какие-то торчат, карандашей везде понапихано, всюду за мной таскается и картинки рисует — что ни увидел, тут же и зарисовал, а я еще рисунками этими восхищаться обязан. Познакомишься с кем, тут же спрашивают: что это за странный такой мальчик? — и приходится отвечать честно, потому как на Небесах не соврешь: «Это мой отец».

Всякая шпана вечно его изводила, поскольку он на других детей не похож. Не нравятся ему ни игры детские, ни разговоры. А шпана загонит его в какой-нибудь угол, штанишки с него долой, трусики и всю одежду прямиком туда, где адское пламя вырывается. Углубление такое вроде колодца, только ни ведра нет, ни ворота. А как через край перегнешься, слабенькие вскрики доносятся откуда-то с глубокого, глубокого дна, Гитлера слышно, и Нерона, Саломею, Иуду и прочих таких же. Так вот и вижу Гитлера: уж до полной агонии дошел, а тут ему еще то штаны отцовские на голову сваливаются, то трусики.

Каждый раз, как с него штаны сдирали, отец, задыхаясь от ярости, бежал ко мне. У меня, понимаете, друзья новые появились, таким воспитанным, приятным человеком меня находят, а тут откуда ни возьмись папашенька: ругается на чем свет, и мешонка его крохотная туда-сюда, туда-сюда, ветром ее раскачивает.

Я матери жалуюсь, а она: знать, мол, о нем ничего не знаю, да и о тебе тоже знать не хочу, ей, видите

ли, всего шестнадцать лет сейчас. Так что с папашей мне одному пришлось управляться — а как управляешься, разве прикрикнешь, если уж совсем доведет: «Папа, черт бы тебя подрал, вырастешь ты когда-нибудь?»

И так далее. Как ни верти, очень уж пессимистичный получался рассказик, ну, я его и бросил.

Да, так вот, был июль 1945 года, и входит мой отец в ресторан Стиджмейера — еще очень даже живой. Было ему тогда примерно как мне сейчас: овдовев, он не проявлял желания снова жениться или связь какую-нибудь завести, даже и не думал. Отпустил усы, теперь и у меня такие же. А в ту пору я всю растительность сбивал.

Подходили к концу времена жутких испытаний, то есть планетарный экономический коллапс, за которым последовала планетарная война. Воевавшие повсюду возвращались домой. Вы думаете, папа мой уж наверняка об этом хоть вскользь помянул, о том, что новая эпоха наступает? А вот и нет, ни словом ни обмолвился.

Совсем про другое он говорил, да так интересно, — про то, что с ним нынче утром приключилось. Ехал он на машине и видит: старый дом сносят. Остановился, развалины разглядывает. И замечает, что рама паренного из какого-то особенного дерева сделана, из тополя, наверное. Могучая такая рама, фути четыре в длину, а планки толщиной дюймов в восемь. Так ему рама эта понравилась, что попросил он работяг: отдайте, мол. Гвоздодер у них одолжил, все до последнего гвоздики повытаскивал, какие нашлись.

Повез он эту раму на лесопилку, пусть реек из нее понаделают, а сам думает: потом решу, как эти рейки использовать. Ему-то больше всего на волокно взглянуть хотелось, уж больно дерево необычное. Пильщики спрашивают: гвоздей-то точно не осталось? Ни одного, клянется. Только гвоздь там все-таки торчал. У него шляпка отлетела, потому и не виден. И как циркулярная пила на гвоздь этот наткнулась, такой раздался звук, что уши лопаются. Ни назад, ни вперед, а от ремня, который пилу удерживал, дым так и валит.

Пришлось папе замену зубцов оплатить и ремень новый, да вдобавок говорят ему: больше чтоб никогда со старыми деревяшками сюда не заявлялся. Но все равно, очень ему все это понравилось. Вроде притчи получилось, причем мораль всякому видна.

Мы с дядей Алексом что-то без особого увлечения историю эту выслушали. Как все отцовские истории, очень уж она вышла гладкая да законченная, вроде яйца в скорлупе.

Ну, заказали мы еще пива. Через несколько лет дядя Алекс станет одним из учредителей Анонимного антиалкогольного альянса, отделение в Индианаполисе, — правда, жена его всем и каждому втолковывала, что сам-то он алкоголиком сроду не был. Сидим, а он нам про Колумбийскую консервную компанию рассказывает, которую отец Хэпгуда Уильям, еще один гарвардец, учредил у нас в Индианаполисе в 1903 году. Знаменитая была попытка по-демократически производство наладить, только я про нее ничего раньше не слышал. Про многое я ничего раньше не слышал.

Колумбийская консервная компания производила томатный суп, приправы, кетчуп и прочее в том же роде. Ей все время помидоры требовались. Прибыли никакой не было до 1916 года. А когда наконец пошла прибыль, папаша Пауэрса Хэпгуда начал из нее рабочим деньги выплачивать, потому как был убежден, что всюду в мире рабочие имеют право получать по справедливости. Акции, кроме него, два его брата держали, тоже гарвардцы, и они согласились: правильно он решил.

Ну, организовал он совет из семи рабочих, который дирекции свои соображения представлял, как кому платить и какие условия должны быть на производстве. Совет этот без всяких подсказок со стороны постановил, что никаких остановок производства в межсезонье быть не должно, хотя консервное дело всегда по сезону разворачивается, и что отпуска надо оплачивать, а медицинское обслуживание рабочих и членов их семей пусть будет бесплатным, да еще надо предусмотреть выплаты по бюллетеням, да пенсии, а в конечном счете компания станет собственностью тех, кто в ней работает, — они акции будут приобретать со скидкой и все выкупят.

— Короче говоря, лопнуло дело, — сказал дядя Алекс и улыбнулся, довольный такой, словно дарвинист, которому законы природы подвластны.

А отец ничего не сказал. Может, вовсе и не слушал.

Вот лежит передо мной книжка «Хэпгуды. Три брата, относившиеся к жизни всерьез», сочинение Майкла Д. Маркаччо, издательство Виргинского уни-

верситета, Шарлотсвилл, 1977. Три брата — это Уильям, учредитель Колумбийской консервной, а также Норман и Хатчинс, гарвардцы, как и он: были они журналистами с социалистическим оттенком, книжки писали, печатали кое-что в Нью-Йорке и поблизости от Нью-Йорка. Согласно Майклу Маркаччо, дела у Колумбийской консервной шли вполне сносно до 1931 года, когда Депрессия нанесла по ней смертельный удар. Многих работавших пришлось уволить, а оставшимся плату урезали вдвое. В финансах компания сильно зависела от Континентальной консервной корпорации, а корпорация требовала, чтобы с рабочими в этой компании обходились более или менее так же, как с ними всюду обходятся, хоть бы они и владели акциями — большинство, между прочим, действительно владело. Эксперименты кончились. Оплачивать их больше было нечем. А те, кто акции приобрел, чтобы участвовать в прибылях, теперь оказались совладельцами компании, которая почти развалилась.

Хотя она не сразу лопнула, не до конца. Когда мы с дядей Алексом, отцом и Пауэрсом Хэпгудом на обед собирались, она вообще-то еще существовала. Только совсем другая стала компания, и ни цента не платила больше, чем другие консервные предприятия. В конце концов все, что от нее осталось, приобрела в 1953 году фирма посолиднее.

Стало быть, появляется в ресторане Пауэрс Хэпгуд, вроде как самый обыкновенный человек, каких на Среднем Западе много, — видно, что из англосаксов родом, костюмчик на нем неприметный такой.